

В издательстве «Вече» увидел свет дополненный, переработанный писателем роман «Боже мой...», написанный сорок лет назад, изданный вначале отдельной книгой, а потом — в журнале «Роман-газета» тиражом в полтора миллиона. И вот новая редакция романа... Очевидно, что поднятые в произведении проблемы не канули в Лету, они существенно обострились и вышли, если можно так сказать, на новый уровень. Вряд ли ошибусь, если замечу, что именно это обстоятельство заставило Ан. Байбородина посмотреть на события и явления 70-х годов прошлого века с высоты сегодняшних обретений и потерь.

Ан. Бабородин вошёл в русскую литературу в конце 70-х — начале 80-х годов с православно-христианским взглядом на действительность, что передалось от матери, сибирской крестьянки, которая даже в разгар атеизма оставалась богомольной христианкой. Мать вышла из сибирской семьи старообрядцев, «семейских», и хотя позже молилась и в патриаршских церквях, сохранила своеобразный «семейский» диалект и старинные обычаи. Отец — гуран, так прозывали коренных забайкальцев, языком, нравом, обликом смешанных с бурятами и тунгусами, что слыли талантливыми сказителями. Этим сказительным даром обладал и отец.

Этический, языковой мир отца и матери определили творческую судьбу Ан. Байбородина как писателя, чей своеобразный язык заставляет читателя восхищаться и трепетать над строками, воспевающими его родной таёжный и озёрный край: «Сплошную седмицу скучно моросило, вытягивало душу, и не верилось в синий небесный просвет, а про солнышко и вовсе забыли, словно здешний люд и не заслужил солнышко по грехам смертным; но вдруг милостью Божией в полдень рванул ветер-верховик: раскачав и взъерошив низкое, мутное небо, порвал заунывную мглу, и тотчас из синей полыни всплыло солнце, и хлынуло на землю тёплое сияние, оживляя и ласково грея деревню, поскотинные поля, лес и озеро. Ярко, изумрудно светилась сырая трава, взыграла поникшая было и посеревшая листва, засинели лужи. Небо над сизым заозёрным хребтом цвело алым цветом, суля после мороси влажный зной и грибной урожай, чтоб хоть литовкой коси, словно луговую траву».

Не случайно произведения писателя на первых порах причислили к так называемой «деревенской прозе», да и благословил его в литературу один из признанных корифеев этого направления — Валентин Распутин, сделавший отнюдь не комплиментарный, но очень доброжелательный анализ первых опусов молодого тогда Байбородина.

Роман «Боже мой...» был начат в конце семидесятых и обозначил главную тему творчества Байбородина — бережное отношение к русскости вообще и к Православию как духовному оплоту нации, к русскому языку как краеугольному камню национального самосознания. Уже тогда, много десятилетий назад, обозначились кризисные явления и подтачивающие язвы на теле великорусского языка, названные писателем «русскоязычной речью, серой и безликой, похожей на бетон, под которым в муках умер цветастый пойменный луг». Автор печалится

«о любомудрой, певучей и живописной народной (крестьянской) речи, похожей на летнее поле в душистом разнотравье-разноцветье». Читая статьи и материалы в газетах «Правда» и «Известия», других центральных изданиях того времени, да и сегодняшнюю прессу, можно убедиться, насколько далека эта «русскоязычная» речь от живого родника народного общения. Писателя уже тогда беспокоило не только распространение «новояза» среди журналистской братии, но и в народе со «всеобщим средним образованием». В редакционных кабинетах нет-нет да и велись жаркие споры о том, каким должен быть газетный язык, и чем он отличается от языка повседневного общения.

Главный герой романа журналист Василий Ознобихин в одной из таких дискуссий посетовал коллеге-журналистке Полине, этакой эмансипе с сигаретой в зубах: «Иные скотники и доярки приноровились говорить по-газетному... Слушать лихо; и больно, и жалко, опять же: словно на чужбине живём, где власть запрещает говорить по-русски, на языке дедов и прадедов». На что журналистка с университетским образованием отвечала: «Навыдумывал ты, Вася... А что, газетный язык — не русский язык?». «Какой русский?! — поморщился Василий. — Труха от сена... Да ещё слов заморских напихали... Помню, читал словарь русского языка: мать честная, да там же всякое народное словцо ...родное, коренное... с пометкой устаревшее, лексически сниженное, — короче, третьего сорта. А словарь тот печатался ...я посмотрел... когда простой народ поголовно говорил на этом... сниженном... Значит, и простой народ — сниженный, третьесортный...». Из чего Василий (а он — во многом автобиографичный персонаж) делает вывод: «Общество в пропасть катится, а язык мертвеет...».

Как актуальны эти сомнения и опасения автора сегодня, когда проблема стала ещё острее: уходят в небытие носители чистейшего русского слова, зато распространяются с пугающим натиском англицизмы, где надо и где вовсе не нужно, применяются иноязычные слова ради какой-то бесовской моды: лузер, имидж, тинейджер, лизинг, лейбл, менеджер и даже спикать, смокать и дринкнуть! Хотя этим и десяткам других англицизмов есть вполне употребительные эквиваленты в русском языке.

То, как автор романа рисует журналистскую братию и окружение, не вызывает к ним симпатии в глазах читателя, не деля героев на положительных и отрицательных, акварельными мазками выделяя в них все самые затаённые движения души и чудовищное несоответствие возложенной на них миссии. Писатель как бы задался целью: каждый персонаж отражает ту или иную степень деградации и нивелирования личности, отказа от своих национальных духовных ориентиров, цинизм и пренебрежение своими корнями в погоне за сиюминутными удовольствиями.

Сюжет романа прост: это один день из жизни районной редакции в августе 1973 года. Перед читателем вереницей проходят во всей своей красе бывший колхозный бригадир, окончивший партшколу и ставший редактором, бывший зоотехник, а ныне заведующий сельхозотделом редакции Гена Чебунин, бойкая и бесцеремонная завотделом писем Полина и её нагловатый муж, фотограф и пройдоха Дарданелла, бездарная корреспондентка с культпросветобразованием Люба Мигай, давно метящий выбиться в редактора ответсекретарь Коля Свист, всегда готовый ради карьеры сделать подножку сослуживцу, и другие персонажи, в общем-то, беззлобные, но по большому счёту равнодушные к своей работе и собственной судьбе люди.

Из этого ряда немного выбивается Дарданелла, не обделённый талантом фотохудожника, пытающийся на этом зарабатывать, впрочем, безуспешно; ради эффектного кадра готовый пойти на подлог и постановку, снимая то, чего в жизни не существовало, но удавалось изобразить сюрреалистическую сценку, хотя рядом можно было снимать сколько угодно не менее захватывающих сюжетов из реальной жизни. Одного окрика из райкома партии хватило, чтобы «фотохудожник» быстро переориентировался на съёмки передовиков, делая их портреты для Районной Доски почёта.

Верхом цинизма и падения нравов можно назвать сцену с Дарданеллой, который, будучи в командировке вместе с главным героем, на коленях выпрашивает у матери Василия «родовую икону, отсулённую дедом с бабкой», изображая себя православным верующим и тут же лихорадочно соображая, сколько можно выручить при её продаже в городе. «Беспамятство, безродность, национальный нигилизм» — так определил пределы нравственного и духовного одичания Валентин Распутин. Сегодня мы видим, что разрушение продолжается дальше — цинизм, блудословие, окаянство, нравственное и духовное скверноядие стали продолжением духовного одичания и показали себя во всей красе в лихие 90-е.

Есть ли предел нравственному и духовному осквернению общества, настолько ли безнадежно его нынешнее состояние, где пути очищения и воскрешения высоких духовных начал, издавна присущих русскому народу и всем народам, обитавшим и возрастающим под лоном Православия и русского языка?! Ответ на этот вопрос в романе ощутим, если читать произведение Байбородина со вниманием и с душевным трепетом.

У гениального русского писателя Николая Семёновича Лескова есть совершенно замечательный сборник «Праведники». В кратком предисловии к нему автор приводит свой диалог с одним «большим русским писателем» (А.Ф. Писемский), который утверждал, что пишет то, что видит вокруг себя: «а вижу я одни гадости». «Это у вас болезнь зрения», — возражает ему Лесков. Но сам Николай Семёнович задумался: «Как, неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трёх праведников, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живёт в моей и твоей душе, мой читатель?».

И, как показал Н.С. Лесков в своей книге, среди всеобщей дряни всегда можно найти «трёх праведников», на которых стоит русская земля. С этой верой и мы примемся за чтение романа Байбородина «Боже мой...». В нём есть, по меньшей мере, одна праведная душа — это мать главного героя Арина Романовна. Она сохранила не только веру, но и родовые иконы, и иконы тех односельчан, кто в годы гонений побоялся сохранять в доме свидетельства «темноты и отсталости», когда партийные агитаторы ходили по дворам и в горницах проверяли божницы, требуя убрать «антисоветскую агитацию»...

Пожалуй, и главного героя Василия Ознобихина можно отнести к «праведникам», несмотря на то, что автор отнюдь не идеализирует героя («чудечко на блюдечке» — называет его жена Лидия). Но главное — в его пугливой натуре теплится вера в то, что «так жить нельзя», что спасение от разложения и одичания всех и вся — в народном слове, в народной вере. Его статьи в газете не похожи на строки литературных подёнщиков: «Эхом деревенского говора звучало его слово,

вольное, словно пение ветра, заплутавшего среди высокой степной ковыли; слово капризное, похожее на девичий завиток у глаз, на белёсые озёрные пески, чаячий плач, хруст осеннего палого листа и сиротский свет февральского месяца — желтобородого старца».

На пути к праведности и Геннадий Чебунин, хоть и любитель выпить, хоть и пишет скучно, но — добрейшая душа, трудяга и большой знаток сельского хозяйства. Далёкая от русской народной этики, от крестьянской языковой стихии, воспитанная на классической русской и мировой поэзии, талантливая газетчица Полина странным образом сочетает в своем творческом мире обострённо критический, злой взгляд на людские пороки, что обличает на страницах газеты, и любовь к нежной поэзии. Хотя Василий горячо спорит с Полиной за ее неприятие простонародной речи в газетной стилистике, за ее вздорность, тем не менее, чувствует в журналистке душу сострадательную, совестливую.

Роман завершается картиной, привычной для «районки» тех лет: ближе к полуночи завершается подписание номера в печать, а Василий, стараясь не попасться на глаза редактору и ответсекретарю, пробирается в цех, где завершается правка, и уговаривает верстальщицу тётю Нюру сделать правку: восстановить несколько раз повторенное местной учительницей словосочетание «Боже мой...», вычеркнутое редактором. Поступок, мягко говоря, неоднозначный: он подставляет не только редактора, но и обманывает дежурившую по номеру Полину и измотанную, уставшую верстальщицу.

Да и сам Василий сомневается: «Может, и правда, не стоит игра свеч?.. — опять спросил он себя. — Вот и тётя Нюра не хочет править. Ну, вычеркнул тятя «боже мой», и что изменится, если я вставлю... Какая, к лешему, разница, если вставлю «боже мой...»? Овчинка выделки не стоит...» — уговаривал себя Василий, а некая настырная сила, вздыбившись в душе, не давала пойти на попятный...». С годами Василий поймёт, что всё это было суета сует, но в тот момент поступок не виделся ему ребяческим: «смирennemудрие пришло долгие зимы спустя, а пока шёл спокойно, легко и счастливо, словно гору своротил, либо свалил с плеч тяжкую ношу». Ноша эта — ненасытный конформизм, который погубил не одну творческую душу, и, в конце концов, когда-то надо было поступить по совести, по правде. Почему не сегодня?